

Хатынская повесть

Автор:

Алесь Адамович

Хатынская повесть

Алесь Михайлович Адамович

«Хатынская повесть» известного белорусского писателя Алеся Адамовича – участника партизанского движения в Великой Отечественной войне в оккупированной Белоруссии – это талантливо воплощённая память войны, повесть-напоминание и повесть-предупреждение от того, кто пережил войну. Она учит человечество самой элементарной из истин – только не щадя своей жизни, можно отстоять свободу и победить врага. Повесть основана на документальном материале и входит в список обязательной литературы Министерства Образования Российской Федерации.

Алесь Адамович

Хатынская повесть

«В Белоруссии уничтожено более 9200 деревень, более чем в 600 из них убиты или сожжены почти все жители, спаслись единицы».

Из документов второй мировой войны

«Я выскочил из машины и начал пробираться между микрофонами.

– Лейтенант Келли! Вы действительно убили всех этих женщин и детей?

– Лейтенант Келли! Как себя чувствует человек, который убивает женщин и детей?

– Лейтенант Келли! Вы не жалеете, что не смогли убить большее количество женщин и детей?

– Лейтенант Келли! Если бы вы могли сегодня вернуться и снова убивать женщин и детей...»

Из «Исповеди» американского лейтенанта Уильяма Келли

«Не укладывается даже в мыслях, что на этой планете может быть война, несущая горе миллионам людей».

Обращение Георгия Добровольского, Владислава Волкова, Виктора Пацаева к людям Земли из космоса 22 июня 1971 года.

... – Тут уже целый взвод! – громко произносит человек в темных очках с белой металлической палкой в руке. Мальчик в голубом плащике, вскочивший в шумный автобус впереди него, высматривает свободное место.

Человек в очках задержался у двери, слушает наступившую от его голоса тишину; глубокие дуги, скобки возле рта, лицо, суженное книзу, некрасиво заостренное, зато лоб очень широкий и, как у ребенка, выпуклый. Рот вздрагивает виноватой улыбкой слепого.

– Папа, там место, – говорит мальчик в прозрачном плащике и касается сразу вздрогнувшей ему навстречу руки.

Снова зашумел, закричал автобус, но недавняя внезапная тишина тоже осталась – как дно. Голоса, веселый крик слишком торопливые.

– Гайшун! Сюда, браток!

– К нам, Флёра.

– Сюда давай!

Человек с врезанной тихой улыбкой слепого кого-то дожидается. Металлическая палка сухо, пустотело звякнула: слепой задел стойку.

На ступеньку автобуса поставил мешок вспотевший мужчина в измятом суконном костюме.

- Это куда автобус?

- В Хатынь.

- Куда?

- В Хатынь.

- А! - неуверенно протянул хозяин суконного костюма, забирая мешок.

В дверях появилась женщина в цветастом летнем платье с сумкой и плащом болоньей на загоревшей руке. Поднялась на ступеньку, смуглое лицо ее улыбается рядом с коротко стриженной, совершенно белой головой слепого.

- Глаша, к нам!

- Сюда садись, в третий взвод!

- Надоели вы ей в лесу! Верно, Глаша?

Женщина, произнесла негромкое «здравствуйте», коснулась локтя слепого, и он пошел через автобус. И сразу стала заметна связывающая их неторопливость, напряженная плавность, какая бывает у двоих, несущих одно полное ведро.

- Сюда, папка, тут место, - громко позвал мальчишка, который уже устроился спиной к кабине, по-детски положив ладони на сиденье по обе стороны от себя.

Очень моложавый и шумный пассажир приподнялся с места и схватил слепого за плечи.

- Флера, с моей посиди. А я с Глашей.

- Костя, - укоряюще сказала жена шумного пассажира, вся такая беленькая, приветливо улыбнувшись слепому, - не мешай человеку пройти. Какой же ты!..

Человек в темных очках привычно нес руку впереди; с ним здоровались, трогая худые пальцы, они чутко вздрагивали.

- Живем, Флера?

- Это кто? Ты, Стомма?

- Узнал? Я, братка, я это.

- А это чья голова?

- Рыжего. Помнишь такого? Подай голос, Рыжий.

- Покажись, - рука слепого вернулась назад, - покажись! И правда - Рыжий!

- Здравствуйте, Гайшун. - Пассажир приподнялся, неловко, как детскую, пожал руку слепого.

Женщина, пока длится процедура узнавания, стоит за спиной мужа, она тоже улыбается, но ни на кого не смотрит, тогда как черные очки слепого внимательно всматриваются на каждый голос.

Руку слепого перехватил очень плотный пассажир с косящими глазами. Ремешок от фотоаппарата раздваивает его мягкое плечо, и весь он какой-то выпирающий, овальный в своем новеньком синем костюме.

- Не узнаешь Столетова?

- И ты тут? - удивился слепой.

- А где мне быть? - Столетов обиделся.

Но женщина уже провела Гайшуна дальше. Он задел колено грузного и даже в сидячем положении высокого человека, который, как переросток за партой, сидит вполоборота, загораживая проход.

– Здравствуйте, – негромко и очень спокойно сказал грузный пассажир. И повторил: – Здравствуйте, Флера.

От его голоса на какое-то мгновение снова открылась – как близкое дно – тишина.

Женщина с изменившимся сразу лицом схватила Гайшуна за плечи и быстро провела его вперед. Посадила и сама села лицом к кабине и спиной ко всем.

Мальчишка позвал:

– Тут лучше, папка.

– Вот и сиди! – оборвала его мать.

У кабины – лицом ко всем – удобнее сидеть было бы и грузному пассажиру. Но он тоже не сел там.

* * *

...Косач! Это его голос. Уверенно тихий: человек знает, привык, что его постараются услышать. Этот голос я различил бы и среди тысячи.

А какой сделалась Глашина рука – точно из-под машины меня выхватила!

Какой он теперь, Косач? Во всяком случае, не слепец, как ее муж.

Мотор и дребезжащее под сиденьем ведро заглушают общий разговор. Лишь самые резкие и самые веселые голоса долетают, случайно сцепляясь и переплетаясь. («В прошлом году... да уже внуки есть... бомба разорвется, облако взорвется... ну, Костя, какой же ты! Дай людям поговорить... я говорю, что

косачевцы везде... нет, я ему скажу, нашему Летописцу, этому... Эй, Столетов!.. Экзамен сдает в иняз...»)

Нереально, невозможно близкие голоса из далекого-далекого прошлого затопляют автобус. Сегодняшние случайные слова плавают поверху, как мусор, а знакомые голоса как бы помимо слов вливаются в меня, солоноватые, обжигающие...

Человек двадцать наших партизан. Некоторых я уже услышал, различаю: Косача, Костю-начштаба, Стомму, Рыжего, Столетова...

Костя, наш начштаба – все такой же мальчишеский голос, – вламывается сразу во все разговоры: хохочет, выкрикивает фамилии, клички, нарочито бессмысленные слова («Деда не забыли?.. Столетов,ними нас для истории. У тебя это здорово получается... Дед, ты у кого такую шляпу раздобыл?.. Мэнш!.. Не мешай, жонка!..»).

Да, он такой, наш Костя-начштаба, с ним и среди чистого поля будет тесно: каждого толкнет, обнимет и тут же осмеет. Не очень солидный для своей должности. Двадцать два или двадцать три ему... Было. Но его любят (любили): дело свое понимал, воевать умел. Не хуже Косача.

Косач тут, рядом. За спиной у меня. «Здравствуйте!..» – поздоровался сначала и с Глашей, но что-то прочел на лице Глаши и тут же отделил: «Здравствуйте, Флера!» Вон какая сделалась Глашина рука! Испуганная и твердая. Сидит рядом со мной, очень прямая, напрягшись, я и не вижу, а знаю.

Такой же он громадный, сильный? Голос, во всяком случае, тот же.

Мне всегда хотелось понять: замечает он сам или не замечает эту свою постоянную иронию, порой, казалось, произвольную?

– Я ему прямо сказать могу! – голос откуда-то сзади. – Мы его, примачка, из-за печки вытащили, в партизаны силой приволокли, а теперь...

О ком это? И чей голос? Нервный, вспыльчивый. Хлопцы уже под заводят человека, это у нас всегда умели.

- Секретарша не пустит.

- А ты по телефону ему. Верно, Зуенок? Или телеграммой.

Конечно же, это он, Зуенок. Наш главный хранитель партизанской геральдики. Зуенок всегда помнил, и очень точно, кто в каком году и даже в каком месяце пришел в партизаны. И кто какого уважения заслуживает. Всю семью Зуенка немцы выбили еще в сорок первом, когда он ушел в лес. Именно по его длинным и настойчивым письмам поставлены многие наши памятники. И этот, который мы едем открывать. Я впервые еду: когда мог, глаза были, встречи такие еще не практиковались. А Зуенку так даже доставалось за попытки собрать нас: «Какие такие встречи? Кому это нужно?»

- До ночи ползти будем с такой ездой! Я на своем хозвзводовском быстрее поспеваю.

- О, дед наш к самолетам привык!

Заехать заодно и в Хатынь, хотя это совсем не по дороге в партизанские края наши, - тоже инициатива Зуенка. Для меня это особенно важно - побывать в Хатыни. Хотя что я там увижу? Увижу не то, что там сейчас, а что было. Что оно такое, наши Хатыни, я знаю. Это я знаю...

А хозвзводовский дед все беспокоится, поспеем ли в оба конца, не опоздаем ли. Сколько ему? Стариком он и тогда нам казался. Говорит, как горячую бульбочку ест: сипит, дует, крикает за каждым словом. И неуверенный смешок хлопотливого и добродушного крестьянина. Как-то сумел, собрал Зуенок всех нас, и городских и с района, в этот автобус.

- Ничего, - отзывается кто-то (кажется, Рыжий), - больше нас ждали.

У Рыжего даже ирония обнаружилась в голосе. Послевоенная, наверное. Раньше все над ним подшучивали, а он только посапывал облупившимся носом да обещал: «Вот как двину левой!»

- А какой хоть памятник, а, Зуенок? - спрашивают с заднего сиденья.

– Курган, школьники насыпали.

– А какой бы ты хотел себе? – кричит Костя-начштаба.

– Я что-то не подумал про это, когда ходили – помните? – по горящему болоту. Как на веревке ходили по кругу.

Мельтешат лица в моей памяти, тасуются, и ни одно не накладывается на этот голос с тихим покашливанием.

– Ребятам все одно теперь. (Дед.)

– Все, да не все! (Стомма)

– Под таким, как в прошлом году, я не лег бы.

– Зуенок, учти пожелания! (Костя-начштаба)

– Нет, а помните Чертово Колено, как ходили по кругу по дымному болоту? Рассказываешь – не верят люди!

Кто это горелое болото, Чертово Колено, вспоминает? Голос с таким знакомым, ласково-хитрым покашливанием. Ведмедь, он?..

Ну конечно же! Какой он теперь, без пулеметных лент через грудь и по поясу? Очень неудобно носить так патроны и непрактично: ржавеют, а в бою вытаскивай по одному, запихивай в магазин, в патронник. Уже для той, для первой мировой войны придумана была удобная обойма: поставил в паз, надавил большим пальцем – и сразу пять патронов в винтовке. Но Ведмедь покорно таскал свое киноукрашение, а сам худенький, сутулый, в очках. Не возле девчат, конечно, его мысли вертелись, как у разбитных, украшенных оружием и ремнями разведчиков и адъютантов, а чтобы хоть покормили. Тетка сразу видела: человек воюет! А может, и тогда кино сидело в чахлой груди Ведмедея? Как-то пошли мы в кинотеатр, начался фильм, и вдруг смешок по залу: «Лев... Ведмедь...» Глаша тихонько воскликнула: «Ой, Флера, наш Ведмедь Лева директор этой картины!» В кино я обычно с Сережей хожу. Мы заходим в помещение к самому началу сеанса, чтобы не мучилась публика недоумением,

зачем незрячему кино.

Сначала Сережа шепотом объясняет, что там, на экране, пока не уловлю, куда авторы гнут, а потом уже я ему помогаю смотреть, слушая фильм, как радио. Некоторые фильмы будто для меня сделаны – все объяснено вслух, громко.

Но когда вдруг замирает зал перед онемевшим экраном – и только дыхание сотен людей, как перед вскриком во сне, – вот тогда включается, загорается мой экран. Под внезапные крики, выстрелы с их экрана я вижу свое. То, чего никто не видит...

* * *

... – А вы, дядя, тоже партизан? – пристает Сережа к Столетову, который перешел к кабине и теперь, я слышу, сидит напротив меня.

– Тут все партизаны, мальчик. – Вопрос Столетову не понравился. – А ты пионер?

– Конечно. – Сережа тоже возмутился.

– Не вывози дядю своими ботинками, – предупреждает Сережу Глаша. С того мгновения, как она увидела Косача, все в ней, я по голосу слышу, словно затвердело.

– Вы тоже косачевец? – добивается Сережа. Он если пристанет!..

– Э, не-е! – обрадовался вопросу Столетов. – Я из отряда имени Сталина.

Столетов теперь сидит лицом к Косачу, они видят друг друга. Или Столетов, по обыкновению, вверх косит? Глаза его странно косят – к небу, к потолку.

– И папка твой никакой не косачевец, а имени Сталина. Это одно и то же: по бумагам мы – отряд имени Сталина, а в деревнях, наверное, и сейчас помнят косачевцев.

Довольно экзотичный экземпляр этот Столетов даже среди таких разных, как партизаны, людей.

Сначала, когда привели в наш Замошьевский лагерь нашкодившего инструктора онемечиваемых школ, который разъезжал по району с лекциями о «Гитлере-освободителе», это был рыхлый бледный человек с глазами, раскоряченными, как нам тогда показалось, от страха. Но не расстреляли, оставили в отряде (доказал, что снабдил десантников пишущей машинкой и еще чем-то канцелярским), и тогда мы поняли, что глаза у него такие от природы. От природы и очень согласные, как оказалось, с натурой столетовской.

На смену косящему испугу хлынул в Столетова, а из него на наши головы восторг, да такой, что хлопцы не знали, куда деваться. Подойдет неслышно, замороженным шагом, станет перед Рыжим, Зуенком или Ведмедем и смотрит влюбленно косящими к небу глазами. Точно головы их где-то там, в вершинах леса. Живыми на небо возносит!

- Ты чего? - удивился партизан с непривычки.

- Я?.. Ничего я... Может, обед вам тоже принести? Я иду на кухню.

- А что, принеси! Принеси, братка.

Вернулись однажды с какой-то операции, а Столетова не видно, нет ни в нашей землянке, ни поблизости. В лагере он, но нас вроде уже не замечает. Оказалось, Столетов уже штабная единица, писарь, а точнее, летописец. Убедил кого-то приезжавшего из бригады, что совершенно необходимо писать историю наших отрядов. Фронт уже накатывается, другие бригады спохватятся, а у нас, пожалуйста, все готово.

Больше Столетов перед Ведмедем не вздыхал, косящие глаза его перенеслись на других, нас они как-то уже не вбирали.

Странные и в самом деле глаза у этого человека. Будто мерку снимает: приставит тебя к чему-то невидимому, потянет слегка кверху, как портной вытягивает воротник, спинку, но в глазах его приговор, даже обида - э, не, не дотягиваешь! До истории, что ли? Еще раз потянет тебя кверху черными горящими (порой кажется - сумасшедшими) глазами, а в них улыбка. То-онкая-

тонкая! Нас, мол, не обманешь... И уже окончательно вскинет глаза к небу, оставив тебя, как перед умчавшимся лифтом. Всякая фраза его вздергивается на дыбы восторженно-уличающим: «Э, не-е!» Скажи ему, что сейчас двенадцать, он тут же уличит: «Э, не-е! Без двух минут!»

Что там получилось из летописи бригады, неизвестно. Только из косачевского штаба он вдруг вылетел так же стремительно, как и попал туда. У Косача такие дела без задержки оформлялись, не помог Столетову и опекун бригадный.

Дошло до Косача (в деревнях пожаловались), что «какой-то косой ваш» дядьку избил, баб пугал винтовкой, кого-то к стенке примеривал.

– Мы тут воюем, – оправдывался Столетов, – а какой-нибудь сидит, бородой замаскировался, и, пожалуйста, освобождай его. Я бы не всех назад пускал.

– Воюем? – переспросил Косач. – Вот и повоюй. А историю потом сочинишь. А для начала на «губу» его!

«Историю» Столетов сочинил, да только совсем не ту... Соединились с армией. Одних – на фронт, других – хозяйство поднимать, и вдруг заминка с теми, кого работать в районе оставили. Столетовская папка всплыла, а в ней, оказывается, такое было написано (особенно про Косача, да и про других тоже), что, когда хлопцев вызывали, им не зачитывали вслух, а только пальцем по строчкам водили. Не решались своим голосом произносить фразы, будто бы слышанные Столетовым в нашем отряде. Что он там слышал, а что сочинил, трудно сказать. Партизаны действительно рассуждали (и порой очень горячо и открыто) о многом, о чем лишь после пятидесяти третьего заговорили и стали писать. Возможно, и в штабе что-то слышал. Но он, кажется, перемышьячил: одна смертельная доза мышьяка – смертельна, а десять зараз, случается, лишь рвоту вызовут, моментально исторгнув себя из желудка. Не возвращать же пол-отряда с фронта! Кому-то неглупому попало дело. Столетову самому пришлось оправдываться, а заодно и за «Гитлера-освободителя». Долго о нашем Летописце не слышно было ничего, но вдруг стал объявляться: очерки по радио, статьи. Ожил! Издал даже брошюру про то, как геройствовали десантники (те, которым он передал пишущую машинку). Скоро и на встречах стал появляться Столетов. Я не бывал на первых встречах, но слышал, что Столетов объявился, что снова восторг и влюбленность в косящих к небу глазах Летописца. Первое время, думаю, не церемонясь, напоминали ему про «историю» бригады, но похоже, что снова к нему стали привыкать. Отходчивы наши горячуны.

– Э, не-е, – тянет Столетов, как бы проверяя реакцию автобуса, – не-е, мальчик, мы с твоим папкой партизаны, а не какие-нибудь... («косачевцы» все же не произнес).

Уже песни поют, две или три одновременно.

Сережа долго не догадывался, что у него отец не такой, как у других. А когда дошло до его детского сердечка – глянул однажды и внезапно понял! – закричал, заплакал, точно в это мгновение со мной все и приключилось: «Кто тебя, папка, ты не бойся, скажи! Немцы, да, фашисты, да? Скажи, ты скажи!» Побежал в свой угол, схватил красную заводную мельницу и стал ее, громко плача, ломать, бросил об пол. Глаша и я убеждали его: игрушку делали другие немцы, совсем другие...

С того времени дня не проходило, чтобы Сережа не заговорил о моих «глазках». Мы с ним обсуждали план, как меня вылечат и я его, конопатого и черноглазого, увижу. Сережа неуверенно смеялся, когда я рассказывал, каким он предстанет передо мной и как я его не узнаю.

Первая операция – за три года до этого – была безрезультатной. Я решился снова, на вторую, ради Сережи. Они с Глашей приходили ко мне в клинику, много говорили, Сережа возбужденно смеялся. Он был вполне уверен, что снимут повязку и я увижу его, все увижу снова. А потом меня увозили домой все с той же темнотой. Глаша тихонько плакала и гладила мою руку. Сережа сидел возле таксиста, впереди, и я его не слышал.

Больше о моих «глазках» Сережа никогда не заговаривал. Иногда по его дыханию, внезапно опавшему, я ощущаю, как страдальчески-изучающе он смотрит на мое лицо. Очень стали болеть глазные яблоки, они точно больше делаются, круглее. Мне даже предложили их вылущить, чтобы не болели, но я не согласился – тоже из-за Сережи.

Сегодня Сережа очень оживлен, весел: он едет в партизаны, кроме того, вокруг нас люди, которым не надо объяснять, кто его папка, наоборот, можно слушать, спрашивать.

Мотор заглушает голоса в автобусе, мы едем лесом, но, когда деревья расступаются, открывается поле, я хорошо различаю голоса даже с задних сидений. И все стараюсь представить, кто как выглядит. Заставляю себя делать поправку на время – четверть века минуло, как я их видел.

Я и самого себя представляю лишь десятилетней давности, каким я был, когда в мире еще существовала такая вещь, как зеркало, а в зеркале – бледный узколицый человек с воспаленными веками, с побелевшими висками и глубокими дугами у рта, всегда удерживающими виноватую улыбку.

Глаша пошла за такого замуж, но она, наверное, в каком-то другом зеркале меня видела, не столь безжалостном. В ее памяти я связан с ее девичеством. С очень многим связан. Вот и с Косачем тоже. Однако как она его ненавидит! Или боится. Себя боится. Нет, это я боюсь. Трусливый и завистливый слепец! И неблагодарный.

Пока я еще был, как все (лишь время от времени начинали вдруг болеть, краснели глаза), жизнь с Глашей у нас не очень ладилась: то, что нас сблизило, то и разделяло, мучило. Наше совместное партизанство, Косач... Не говорили мы, не вспоминали вслух, но это присутствовало. А когда со мной случилось самое страшное (в течение полугода), Глашу как подменили – ее голос, ее руки, касания. И она сама захотела, чтобы родился Сережа.

И снова рядом Косач! Он у нас за спиной, всю дорогу за спиной. Глаша ни на миг не забывает этого, я чувствую. Вон как она напряженно молчит! Я сам настоял, чтобы ехать на эту встречу, когда Зуенок нам написал. Глаша не хотела, а мы с Сережей настаивали. Я – в отместку за все прежнее. Себе в отместку. Благодарность слепца...

* * *

В автобусе громкий веселый спор. Мне всегда легче, если люди вот так увлечены, и тогда не они меня, я наблюдаю.

– При нем и этот не рыпался, сидел в приемной как миленький. (Зуенок.)

– Во-во, один перед другим! (Дед.) У нас в селе был один...

– Суворов о Китае говорил... Вы знаете, что говорил Суворов? Спит – и слава богу: не будите себе на беду!

И он тут, Илья Ильич, наш комроты! Цыганская небольшая бородка, обязательная книжка в кармане или в сумке... Где он брал те книги, одному богу известно: в деревнях уже последние библии докуривали!

– А я вам доложу, если еще не знаете (Костя-начштаба), ихнего тоже давно на свете нет. Для этого кучу малу – культурную революцию – придумали. И чтоб глаза не продрали, каждые семь лет – вали всех в кучу малу. Не верите – спросите Столетова!

– Это же Китай! – подхватил Илья Ильич. – Император, что Великую стену строил, объявил, что будет жить вечно. А потом взял да и помер. Целый год не хоронили, раз он так объявил. Посадили за ширму на трон, а чиновники, министры приходили и слушали, как он за ширмой молчит, угадывали его приказы. А запаха условились не слышать.

– Во! – воскликнул Костя-начштаба. – Не то что наш Столетов!

– А что! – Столетов отозвался, будто и в самом деле имеет к этому касательство. – Я не оправдываю, но так тоже нельзя: раз – и все яйца об пол! Э, не-е, так тоже не делают. Правду говорит Зуенок: при нем...

– Споем! – кричит уже Костя-начштаба и тут же начинает: – «А какая встреча будет у вокзала в дни, когда победой кончится война!..»

Косач молчит, один он не втянут в шумный спор. Интересно, что он сказал бы и как, что он все эти немолчаливые годы думал.

Сразу после войны он работал в райисполкоме, потом его сделали директором торфозавода, потом – совхоза. Где сейчас, не знаю. И Глаша не знает. Плен, в котором он побывал, а возможно, и папка Столетова на нем все-таки висели. Да и он сам человек достаточно сложный, с неожиданностями. На партизанской встрече я впервые, но уже вижу (по разговорам, репликам, по его тяжелому молчанию), что к нему не очень бросаются. Ну а он – тем более. Общительным, компанейским он никогда не был, это не Костя-начштаба. Видимо, имеет

значение и то, что в памяти нашей Косач связан со многим, что не располагает к веселой болтовне, запрятано на самом доньшке памяти. Война есть война, но возле Кости-начштаба – это вполне партизанская, с шумом, анекдотами, с памятью о всяких казусах, война, возле же Косача вспоминается что-то другое, более резкое, заостренное... В Косаче нет этого нашего, косачевского, партизанского шика, лирики партизанской, которая в других с годами все разрастается. Он вот и на встречу едет как чужой. Со стороны кто-нибудь так и решил бы, что он единственный тут не косачевец!

Слышал я или читал, что людей, знавших друг друга в обстоятельствах особенно мучительных, унижительных, потом не очень тянет к встречам. Изредка – да, но не более того. Трудно, невозможно жить с постоянно вскрытой коробкой, где все это запрятано. Такие люди вряд ли дружат семьями. Я сам знал двух человек, переживших Освенцим в одном бараке. В коридоре пединститута, в курилке они встречались, иногда с подчеркнутой беззаботностью сверяли лагерные номера на руках («Я на 120 тысяч человек моложе тебя...»), но из их разговоров можно было понять, что даже не знают друг про друга, кто на какой улице живет.

Да что толковать, я вот и Сереже не все стал бы рассказывать (даже когда студентом сделается), хотя, кажется, прятать, стыдиться нам нечего. На своих студентах я и убедился, что есть вещи, которые невозможно сообщить другим, кто не испытал чего-либо подобного.

Услышали мои третьекурсники от кого-то про случай, когда командир во время блокады, среди немецких засад, чтоб не истребили отряд, будто бы пожертвовал ребенком, который все кричал на руках у матери. Пересказали мне возмущенно. Но и вопросительно: как я тут извернусь с моей «универсальной наукой психологией»? По их убеждению, после такого случая отряд обязательно распался бы: люди, предав, потеряв самую цель борьбы, возненавидели бы друг друга и самих себя, собственную жизнь, купленную такой ценой. Возмущаясь вместе с ними самой возможностью подобного случая, я все-таки не согласился, но кончилось бы именно так. Напомнил про «защитный механизм» психики, без которого война вообще немыслима, непереносима была бы для человека...

Я не видел лиц моих студентов, но впервые почувствовал – в интонации одних, в молчании других – не просто несогласие, враждебность. Будто им сама слепота моя, мои черные очки неприятны, отвратительны. Нет, они не соглашались ни на какую «защитную реакцию», ставя себя на место того отряда!

И слава Богу! Хотя слишком многое в жизни повторяется, но правы все-таки они, не желающие в такое верить. Права весна, которая не хочет знать, что повторится и осень, и зима. Права юность, которая не верит, что у других начиналось вот так же. И благословенна река, начинающаяся чистой, светлой криничкой; даже если бы криничка знала, что низовья реки загажены, это не замутило бы ее. Реку можно очистить. Но это не имело бы никакого смысла, если бы не источали чистоту изначальная криничка, подземные ключи...

Да, а ведь моя первая партизанская любовь – вовсе не Глаша. И Глашу-то я полюбил отраженно от Косача. Косач! Мальчишеская, смешная, но с какими-то мечтаниями, фантазиями, обидами и радостями – иначе это и не назовешь как любовью.

Еще до того как пришел в отряд, наслышался я: «Косачевцы, ого, не всякого возьмут к себе!», «Вооружены, как десантники!», «У Косача одни кадровики, воевать умеют!», «Косачевцы бой ведут», «Косачевцы... косачевцы...».

Мечталось стать не просто партизаном (их немало проходило через нашу деревню), но обязательно косачевцем.

Оружие, без которого к ним и не просись, я добыл. А способ подсказал мне Федька Воробьиная Смерть – рябой, как воробьиное яйцо, сын колхозного бухгалтера. Ему было всего лишь четырнадцать, на два года моложе меня, и, чтобы свести на нет мое постоянное в этом преимущество, Федька все время выискивал, чем бы похвастаться. На этот раз он достал из дупла две гранаты-«лимонки» и показал мне, стоявшему под деревом:

– Что, видал, кум, солнце?

Меня это так поразило, что он не выдержал и решил меня доконать. Повел к болоту, из-под елового пня-выворотня вытащил завернутое в кусок брезента то, о чем я давно мечтал: ржавую, с подгнившим прикладом, но самую настоящую винтовку! Теперь и дураку было ясно, что мое превосходство над ним в два года – недоразумение и наглость.

– Ладно, – сказал Федька, подобрев, – у них такого добра много.

Я не понял.

– У покойничков, – пояснил Федька. – А что?

Я невольно посмотрел на свои сразу растопырившиеся пальцы, которые вдруг сделались липкие. Вот отчего дерево на винтовке такое черное, точно обгоревшее!

Назавтра мы отправились к могилкам. Их много было в сосняке на песчаных горах. Тут зарывали в сорок первом. Где убит, там и похоронен, каждый в своем окопчике. (Бои у нас на Полесье гремели долго: уже Смоленск немцы забрали, а тут, в лесах, в болотах, их сдерживали бронепоезда и конница усатого Оки Городовикова, как в гражданскую.)

Желтые песчаные бугорки окопчиков-могил осели, их затянуло вереском, как маскировочной сеткой. Федька сел под куст, закурил.

Я стал перед ним с лопатами, готовый попросить: «Лучше не надо!»

– Ну? – спросил он хмуро.

Я не понял.

– Нанял ты меня? Арбайтен!

Я, наверное, покраснел.

– Дай! – он вырвал из рук лопату. – У покойника зубы не болят!

Желтый влажный песок, яркий, как свежая кровь, постепенно окружает нас, а мы все погружаемся в землю. Я вдруг выскочил наверх: показалось, что земля уходит, скользко поползла под босыми пятками.

– За водичкой побежал? – презрительно кричит Федька.

– Тесно... вдвоем, – поясняю, давась липкой слюной. Что-то черное выбросил Федька на желтый песок: как горелая бумага.

– Немецкий... пуговицы немецкие... Нет тут ни черта!

– Почему? – принуждаю себя интересоваться, хотя мне одного теперь хочется: уйти, убежать. Такое чувство, будто потерял что-то навсегда.

Как хозяйка картошку в ведре, Федька сечет лопатой в яме, отыскивая металлический звук.

– Я же говорю! В ихних не бывает, проверено. Своих они закапывали без оружия.

Деревянный какой-то звук громом отдается в моей черепной коробке. Федька взглянул на мое лицо.

– Помощничек! А ну засыпай! Нанял?

Отошел в сторонку и лег с закрытыми глазами, а я стал сыпать уже подсохший песок в яму.

Лишь в третьей яме лопата (не его, моя) звякнула. И тут я забыл про все.

Винтовка лежит на свежем песке, а мы стоим над ней. Металл от ржавчины желтый, как весенний курослеп, а дерево до угольной черноты напитано запахом и сыростью смерти.

– Бачишь, кум, солнце! – кричу я.

С этой винтовкой я и попросился к косачевцам. (Брезентовый ремень пришлось сменить.)

Начал не с мамы, зная, как ей трудно такое решать, а прямо с дела. Два раза ходили (и Федька с нами) телеграфные столбы спиливать. Знакомым ребятам-косачевцам за то, что брали нас с собой, заплатили патронами. И это было у Федьки припрятано. Но Федьку снова мучила зависть:

– Хорошо тебе, у тебя батьки нету.

Но у меня была мама. Собрался с духом, призвал всю свою закоренелую безбоязненность двоечника и сообщил маме, что сын ее – партизан.

Сестрички мои, семилетние близнята, рассматривали внезапно объявившегося в их семье партизана с восторженным и жалеющим ожиданием: сейчас он будет плакать. Мама наша на ремень и даже на палку скорая. Потом сама плачет, но раньше поревешь ты.

На этот раз первая заплакала она. Тихо, беспомощно, глянув почему-то на плоские, как блюдечки, мордочки близнят, окинув взглядом стены, углы хаты, точно тут же надо убегать, все бросать.

Ушла на кухню, не проронив ни слова. Что-то делала там возле печки и плакала, а мы шепотом разговаривали.

– А тебе коня дадут?

– Сам добуду. У косачевцев сами все добывают.

– И нас покатаешь? Огород наш засеешь? А то мамке тяжело будет.

– Приеду и сделаю. Теперь вы – партизанская семья.

– Мамка плачет.

– Она всегда... Когда и папа на финскую уходил... Вы не помните, малые были.

Близнецы наши красавицами не считались, даже мама говорила с жалеющей улыбкой (когда обе рядышком, трудно не улыбаться):

– Господи, растут вековухи, мало одной, так надо, чтобы две!

Я любил их плоские губастые личики, хоть часто и орал на них, как злой мужик, когда они пытались увязаться за нашей ребячьей компанией. Но в своем дворе мы были друзьями. Кого хочешь тронет это – сдвоенная покорная улыбка на добрых мордашках, сдвоенное уважение к старшему брату!

И вот теперь, когда мама заплакала и так посмотрела на них, на стены, я почувствовал себя виноватым. Впервые подумалось всерьез, чем все может кончиться. Теперь и не партизанской семье уцелеть, выжить нужно большое счастье, везение. А на партизанские у немцев охота круглый год.

– Давай пришью тебе батьков воротник. Залезь на чердак, принеси, – сказала мама, вернувшись от плиты к нам, сразу затихшим. – Все равно черт какой найдет да заберет. Или спалят.

Я бросился в сени, взлетел по лестнице. В тряпье возле лежака раскопал рукав от старой фуфайки, сильно пахнувший табаком. В рукаве наша единственная фамильная ценность: каракулевый воротник, завернутый (от моли) в табачные листья.

Мама пришивает поблескивающий черными завитушками воротник к моему рыжему школьному пальто, а мы сидим возле нее, связанные тишиной, ожиданием. Мама зябко повела своими прямыми худыми плечами, я побежал и принес из шкафа старый теплый платок. Когда платок у нее на плечах, фигура мамы не такая резкая, и вся она становится добрее, печальнее, задумчивее. Вот такая – под платком, в прохладном сумраке – она рассказывала нам про городское житье, про свою молодость, про отца. (Я – городской, а сестренки родились в деревне. Отец сам попросился работать в МТС, директорствовал до самой финской войны. А потом случилось что-то непонятное, ошеломившее – он оказался в плену. Было два письма откуда-то с севера уже перед новой войной.)

Мамин платок да каракулевый воротник, купленный отцом себе на пальто, – все, что оставалось от нашей «директорской» жизни. Городские вещи мы начали продавать еще до войны.

Кончила мама работу, оглядела мое пальто с роскошным воротником и даже улыбнулась:

– Как раз тебе пригодился.

Мы, обрадованные ее улыбкой, бросились примерять пальто: близнецы держали его, как шубу барину, а я на них покрикивал. Каракуль пропах табаком, точно его уже носили. Наверное, и маме то же самое почудилось:

- Папкиным табаком будешь пахнуть.

Я нарочито весело и громко втянул воздух, понюхал – испугался, что она снова заплачет. Сестрички тоже сунулись, а я велел им раньше вытереть носы, и они послушно вытерли.

Первые дни и недели в партизанском лагере были для меня сплошным праздником узнавания. Дисциплина в отряде была почти армейская, этим косачевцы гордились перед соседями. Но все равно это были партизаны – все у них с выдумкой, с веселой руганью, с патефоном, при котором одна на все настроения пластинка: «Брось сердиться, Маша». Эта «Маша» по-разному звучала, когда все хорошо было и когда убитых привозили и партизаны ходили по лагерю примолкшие, мрачные.

Очень любили мы посмотреть на себя со стороны – косачевцы! Однажды пойманный полицией стал рассказывать, как он прятался в погребе и оттуда слышал нашу атаку, что кричали, какие слова. Специально ходили послушать полиция, а он, поняв, что попал в точку, всю сочинял самые заковыристые ругательства в свой адрес.

Воевать весело – это считалось обязательным. Только новички про бой рассказывали серьезно, подробно, бывалые же косачевцы – как про забавные, почти нелепые приключения. Иной примчится, едва ноги унес, глаза – с яблоком каждый, а уже придумывает, ищет в случившемся смешное, точно с немцами в какую-то злую, но веселую игру играл. Не получилось, врезал немец – тоже смешно! И только когда убитых привезут, лучше не подходи, если тебя в том деле по какой-то причине не было. Окрысятся как на чужака. А вечером тихо поют песни или задумчиво слушают, как довоенный баритон уверяет Машу, что «жизнь прекрасна наша в солнечные дни».

Косача в отряде уважали, пожалуй, побаивались. Но и побаивались тоже очень по-партизански: мол, так и надо с нами, не ходи, такой-сякой, босой, умей вывернуться даже из-под Косача, если ты косачевец!

И все-таки чего-то в нем не понимали, это было заметно даже мне. Да, жесткий, слишком даже, зато смелый, и косачевец знает, что, раненного, его не бросят, как случается у других, а уж из засады сорваться, бежать без команды – такого у нас не бывает. Храбрый не побежит потому, что он храбрый, а трус потому, что

он трус и знает, что судьбу его решать будет Косач.

Но эта его непонятная, ироничная ко всему – и плохому и хорошему – улыбка! Она всех и все обидно уравнивала: кажется, Косач видит, помнит тебя только в тот момент, когда ты у него перед глазами. И всякий раз как бы впервые замечает.

Впрочем, других это, возможно, мало озадачивало. Но я, я-то был влюблен!

Вот я стою на посту возле штабной землянки. Лагерь медленно засыпает, расседланные лошади под навесом звучно перебирают сухой клевер. Кто-то идет к штабу, гремя подмерзшими к вечеру прошлогодними листьями. В холодном сумраке узнаю крупную, в коротком кожаном и ушанке фигуру Косача.

– Кто идет? – окликаю грозно, радуясь, что он слышит меня, мой партизанский окрик, но я стесняюсь немного. Ведь я узнал его и он знает, что я узнал его, вроде поиграть предлагаю. – Пароль! – требую уже потише.

А он идет на меня из темноты, молча, не сбавляя шага. Я клацаю затвором, но тут же говорю:

– Это вы, товарищ командир?

Как еще не закричал: «А, узнал, ага!»

Косач быстро подошел, презрительно, как палку, отвел в сторону мою винтовку.

– Почему не стрелял?

Игра так игра, вон какую мне предлагает!

– Я сразу узнал вас.

– Раз не остановился, не назвал пароля – бей!

– Я же...

– Не имеет значения. – Косач близко и внимательно взглянул в мое растерянное и обиженное лицо, усмехнулся: – Двое суток гауптвахты.

Наверное, чтобы уяснил, что война – игра всерьез, свирепая.

Но и тут косачевцы делали поправку на характер своего командира. Днем на гауптвахте действительно скверно, неуютно: нары из ольховых жердочек убираются, стой или сиди на корточках в промерзлой землянке, дыши в воротник, пропахший отцовским табаком... Зато ночью! Ночью у тебя все привилегии, подчеркнутая заботливость караульного взвода.

Интересно, рассказали Косачу хотя бы после войны, как кормили гауптвахту из их штабного котла?

Я сам в этом участвовал, когда выходило стоять на посту возле кухни. Стоишь и знаешь, что скоро явятся. (Звяканье котелков вместо пароля.)

– Смотри хорошенько, если поставлен! – всхлипывает смешком какой-нибудь Рыжий или Зуенок, а у самого уже рукав закатан до локтя. Выхватывает из меньшего котла куски мяса, дует на пальцы, а ты, часовой, ему еще и котелки держи. Один – для гауптвахты.

* * *

...Косач сидит у меня за спиной тот же, но и совсем другой. Впрочем, я не знаю какой.

Что-то свое, хорошее и плохое, отдавали мы тогда этому человеку, что-то наше он нес в себе.

А сейчас свое отняли, забрали и он вроде тот, прежний, но уже и другой.

По-разному это люди переносят. Некоторые страшно удивились и обиделись: был хозяин над жизнью и смертью, а теперь каждый имеет право жить, будто тебя и не было над его волей, судьбой. Иной живет и все прикидывает: да вчера, да я мог, да тебя бы!..

Косач не кажется мне таким. Он умел командовать. Но не думаю, что весь был в этом. Его ироническая, порой даже неуместная улыбка – это какой-то взгляд со стороны на то, что он делал так умело и твердо. Пожалуй, счеты у него были не с одними немцами, фашистами, но и еще с чем-то. С самой войной, что ли? Не оттого ли он менее косачевец, чем все мы, не сближало его с людьми дело, которое он так точно и твердо делал. Да, мы ему отдавали что-то свое, нес он в себе и наше. Но не веселую отчаянность, как Костя-начштаба, а что-то совсем другое. Может быть, человеческую потребность мстить войне войной же. За то, что тебе с ней выпало спознаться.

Если я, конечно, не усложняю Косача. Но и упрощать его тоже нельзя.

Да и то сказать: теперешнего Косача я почти не знаю.

Всю дорогу он молчит. Вдвоем с Глашей молчат. Когда она его увидела, на лице ее, возможно, ничего не отразилось. Лицом люди учатся владеть, но рука скажет все – на моем плече была ее рука.

Я всегда считал себя уродом, даже когда глаза были. Будто может человек с глазами быть уродом. Впрочем, до встречи с Глашей меня это не очень занимало. А когда в отряд попал, так даже очень себе нравился. Винтовка, граната – партизан! Какой еще красоты от человека хотеть!

А потом глянула на этого партизана девочка, засмеялась на всю улицу – и все переменялось.

День тот выдался, как специально, сырой, холодный, грязный. Сено подо мной, которое я взял на залитом талой водой лугу, тоже было сырое, тяжелое. Лежа на высоком, ничем не стянутом возу, ехал я по деревенской улице, высматривая, в какой хате мне пообедать. И вдруг увидел Косача верхом на сильном, злом жеребце, а за ним адъютант в ремнях и гусарских бакенбардах. Пока я любовался нами, косачевцами, незаметно и легко (мысленно, конечно) пересадив Женьку-адъютанта на свой воз, а сам вскочив на его коня, я совсем забыл про своего широкозадого Геринга, а он, фашистская морда, мне и подстроил. Внезапно я ощутил, что воз накренился, что скольжу, сползаю вместе с сеном, медленно и неотвратно – прямо в весеннюю лужу.

– Вали, суше будет! – крикнул Женька, хороня меня в глазах Косача, который сердито на нас оглянулся. А все мы оглянулись на громкий смех девочки. Я готов был убить и себя, и Геринга, и эту хохотунью, которой именно в этот момент обязательно надо было появиться. В огромные разбитые сапоги, как розовые свечи в подсвечник, воткнуты длинные ноги аистенка, в грациозно отставленной руке – грязное ведро, на другой руке – большая тяжелая рукавица из овчины. Собирает для свиней добро, что лошади теряют, а самой вон как весело!

Глаша любит вспоминать этот случай, особенно веселит ее мое тогдашнее возмущение тем, как по-балетному она держала свое ведро. Но, оказывается, рассмешил ее Женька, его гримасы и бакенбарды, а вовсе не я со своим возом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: <https://tellnovel.com/ales-adamovich/hatynskaya-povest-kupit>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)